Достоевский Ф.М. (№5) 03.98

ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ

В НАПРАВЛЕНИИ СОДОМА

Еще одно обвинение против Достоевского

Независимая газ. – 1998. – 13 марта. – с. 12

В своей новой большой работе «Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года», посвященной делу петрашевцев (которое началось 150 лет назад, в марте 1848 г.), Игорь Волгин, помимо многих неизвестных прежде сюжетов, касается также темы весьма современной и в известном смысле даже животрепещущей. С некоторых пор она сделалась любимым предметом интеллектуальных дискуссий. В этой связи автор останавливается на сравнительно недавнем выступлении Бориса Парамонова по радиостанции «Свобода», в котором последний распространил свои наблюдения над «гомосексуальным подпольем» русской жизни на личность создателя «Братьев Карамазовых».

Мы предлагаем вниманию читателей фрагменты из новой книги Игоря Волгина. Полностью они публикуются в журнале «Октябрь» (№ 1, 3, 5).

Игорь Волгин

О ПОЛЬЗЕ «ТЕМНЫХ ВЛЕЧЕНИЙ»

ТЕПЕРЬ коснемся темы, бесстрашно заявленной в недавней книге Л.Сараскиной «Одоление демонов»: вопрос, судя по всему, волнует культурный мир.

В названной книге отношение Достоевского к Спешневу трактуется как мучительный, но сладостный недуг. Все прочие современники писателя, безусловно, меркнут пред тем, кто являл собой «роскошный букет из мужской красоты, чувственной энергии и демонического очарования». Потрясенный таким богатым ассортиментом брутально-эротических достоинств, автор «Бесов» изо всех сил пытается **овладеть** этим хищным демоническим типом (то бишь «роскошным букетом из мужской красоты»). «Напомним на всякий случай, – писали мы в посвященной «Одолению демонов» статье, – что речь идет о Достоевском, а вовсе не об авторе «Портрета Дориана Грея».

Нет смысла повторять соображения, изложенные нами в упомянутых заметках. Любопытен, однако, сам феномен: он, как мы полагаем, стал зеркальным отражением «духа века сего»: «Это литературоведение с намеком, литературоведение с ужимкой, с томным заводом глаз, литературоведение с придыханием: оно, пожалуй, имеет богатую будущность» («ЛГ», 12.02.97).

Статья имела некоторые полемические последствия. На нее (в изысканном жанре, именуемом «сам дурак») обрушился г-н Кувалдин («НГ», 03.94.97): этот анекдотический текст доставил нам немало веселья. (Нашу реплику «Достоевский и проблемы шаманизма» см. «ЛГ», 30.04.97.) Досаднее было, что статью не одобрил сам Борис Парамонов.

«Статья Волгина, – начинает Б.Парамонов, – исключительно некорректна: он объявляет работу Сараскиной «бабьей болтовней». Меж тем «исключительно некорректным» следовало бы признать заявление самого Парамонова: процитированных им слов в нашей статье нет. Впрочем, справедливо ли требовать точности от вольных сынов эфира?..

Б.Парамонов далее замечает, что был шокирован тоном нашей статьи «и проглядывающей за этим картиной российских научно-литературных нравов». Последние обличаются им с большой элегантностью: «Я в ихних академических крысиных бегах не участвую». Парамонов резервирует место в ложе для почетных гостей.

Брезгливо разглядывая из своего нью-йоркского далека наши скучные ученые лица, оратор не щадит и собственной подзащитной: «Пробудившаяся надежда прочитать за много лет по-русски что-либо интересное (в этом эпическом зачине брезжит нечто набоковское! – **И.В.**) сопровождалась некоторыми сомнениями: не сильно верилось, что уже известный мне автор потрясет основы. Мои сомнения, к сожалению, подтвердились».

Хотелось бы защитить Л.Сараскину от Б.Парамонова.

Пушкин возымел однажды желание поблагодарить министра народного просвещения С.С. Уварова за перевод на французский стихотворения «Клеветникам России». «Стихи мои, – скромно замечает поэт, – послужили Вам простою темой для развития гениальной фантазии». Можно сказать, что в отношении Б.Парамонова книга Л.Сараскиной сыграла такую же благотворную роль. Именно она (то есть книга) дала плодоносный толчок его собственным (вполне заслуживающим пушкинского эпитета) озарениям. Чудесным образом подтвердилось, что книга Сараскиной – это «литературоведение **с намеком**»: чуткий Парамонов этому намеку немедленно внял. «Я сейчас с *удовольствием* (курсив наш. – **И.В.**) договорю то, что не сказала Сараскина...» – спешит обрадовать он российскую публику. И действительно – **договаривает**.

Парамоновский Достоевский куда более **крут**, нежели Достоевский сараскинский. Всю жизнь он, по мнению Парамонова, яростно «искоренял в себе некое темное влечение, природа которого была ему не ясна», но (победоносно заключает автор) «ясна нам, учениками Фрейда!»

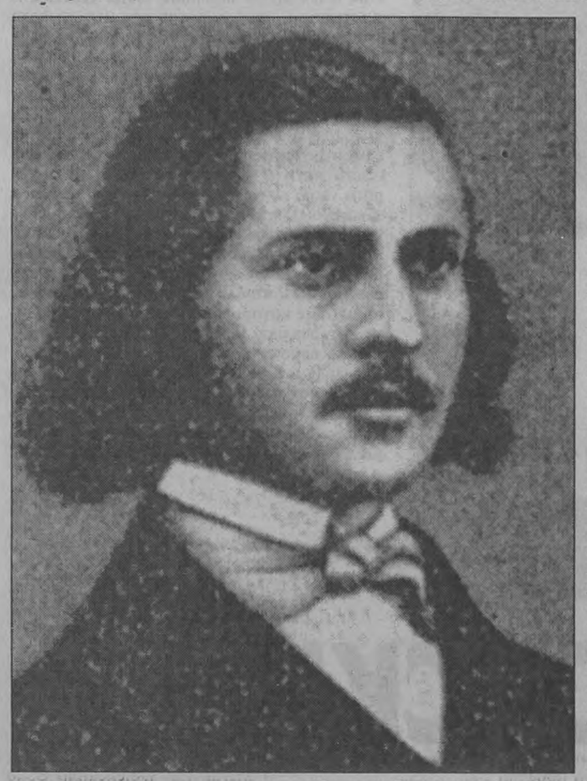
Не мы выбрали эту тему. И не мы «погнали волну» (alias радиоволну). Но поскольку так получилось, о «темных влечениях», наверное, стоит потолковать особо.

Итак, если верить Парамонову, главной заботой Достоевского было совершить то, что в приличном (литературоведческом) обществе именуют «одолением демонов». Иначе говоря, побороть свое гомоэротическое подполье. Очевидно, только оно еще и способно поддержать наш гаснущий интерес к автору «Карамазовых». (Хотя, как сказано в одном анекдоте – применительно, правда, к другому художнику, – мы любим его не только за это.)

Впрочем, «это» становится признаком хорошего тона: едва ли не вся мировая культура выводится из названного источника. Талант, чья сексуальная ориентация остается убого-традиционной, не вызывает сочувствий. Перспективы у его обладателя далеко не блестящи. Ему всегда грозит обвинение в банальности и отсутствии подлинной страсти. Успехи у женщин больше не берутся в расчет. Да и сама преданность прекрасному полу нынче довольно смешна.

Напротив, в художнике, не слишком настаивающем на своих гетеросексуальных правах, всегда готовы усмотреть искру таланта. Если же это явный сторонник однополой любви, титул гения ему обеспечен.

Гомосексуальность стала синонимом художественного успеха. В ней прозревают едва ли не единственную причину творческих откровений. Тайна искусства наконец-то обнажена. Разве только марксизм обладает таким универсальным подходом. (В этом смысле наш оппонент, безусловно, марксист.)



Николай Спешнев (1821–1882).

Не нам, правдиво поведавшим о страстных привязанностях юного Достоевского к его молодым друзьям, а также не скрывшим от читателя нравы, которые царили в военно-учебных заведениях (см. «Родиться в России», М., 1991), не нам топать ногами на Б.Парамонова. Тем более что проблема действительно существует. Однако для наших половых неофитов (внезапно пробудившихся от классических снов и больше всего боящихся, что их обвинят в сексуальном консерватизме), кроме **этой** проблемы, нет никаких иных. Заслышав, к примеру: «Друзья мои, прекрасен наш союз», они готовы с пристрастием допросить песнопевца: что, собственно, он имеет в виду?

Как же, однако, поступить с Достоевским?

ОШИБКА ЛИДИЙСКОГО ЦАРЯ

Существует известный миф, согласно которому автор «Бесов» совершил надругательство над ребенком – девочкой двенадцати-тринадцати лет. Миф этот в историческом плане был генерирован весьма враждебной Достоевскому средой. Но даже в этом столь выигрышном для обвинителей случае не намекалось, что предметом домогательств был **мальчик**. Между тем, если верить Б.Парамонову, дело должно было обстоять именно так. Если же верить Сараскиной (в том смысле, как ее сочинение предлагает трактовать Б.Парамонов), под угрозой подобных покушений находился сам автор «Двойника».

Действительно, в представленном нам тандеме Достоевский по отношению к Спешневу – лицо преимущественно страдательное. «Хищный» барин-аристократ полностью подавляет собой «смирного» беллетриста, который, как утверждает Сараскина, испытывает «всю страсть благоговейного ученичества, всю муку преданного обожания, доходящего до идолопоклонства, всю боль духовного подчинения» и т.д. и т.п. Не возникает сомнений, кто здесь является ведущим, а кто – ведомым, в ком заключено активное, мужское начало, а кто женствен и исполнен **пассивного** ожидания.

Увы, «жизнь» не подтверждает этой игривой гипотезы.

Самолюбию Спешнева должно было льстить сближение с автором «Бедных людей». Достоевский – единственная бесспорная знаменитость в этом ничем не заявившем себя кругу. Спешнев, который писал матери, что помимо личного счастья ему «нужна слава, наука и поэзия», не мог не ценить такого знакомства. 27-летний, но уже достигший некоторой славы писатель, пожалуй, производил на «сильного барина» не меньшее впечатление, чем тот на него. В их нравственном поединке (вхождение в спешневскую «семерку» означало, что вызов принят) можно, конечно, различить следы «темных влечений»: не тех, однако, какие имеются в виду.

Достоевский мало пригоден на роль ведомого.

Во всех без исключения жизненных положениях автор «Преступления и наказания» демонстрирует деятельное, волевое, подчеркнуто мужское начало (несмотря на некоторые женственные черты, действительно свойственные его натуре.) Он, если угодно, всегда выступает как «хищный» (то есть переламывающий ситуацию) тип. Начиная с раннего детства, когда в играх со сверстниками он неизменно принимает роль вождя индейских племен, и кончая всколыхнувшей Россию предсмертной Пушкинской речью, он заявляет о себе как **о лидере**, который пытается овладеть ходом вещей. Он идет ва-банк, порывая с надежной офицерской карьерой и устремляясь в неверные волны отечественной словесности; он прилагает титанические усилия, чтобы вырваться из Сибири и вернуться в Петербург; он возглавляет четыре крупных издания, чтобы с их помощью воздействовать на умы. Он тверд и настойчив в своих отношениях с властью; он надежен как друг; он, наконец, обладает железной писательской волей.

Все описания гетеросексуальных контактов (или подразумевающих их ситуаций) в его романах – относись эти сцены к Свидригайлову, старику Карамазову, Подпольному или Ставрогину – даются глазами насильника, а не жертвы. Повествователь – не «девочка», а – «Ставрогин». В более широком смысле он всегда Раскольников, но никогда не старуха. Что из этого следует? Совсем не то, в чем хотят нас уверить доверчивые «ученики Фрейда».

Б.Парамонов полагает, что сексуальное поведение Достоевского (в том числе и в его беллетристических воплощениях) определялось «мотивом Кандавла». (Этот лидийский царь опрометчиво приглашал друга полюбоваться прелестями своей жены, в результате чего и поплатился жизнью.) Читатель, конечно, уже смекнул, кто здесь есть кто. Только в присутствии соперника-друга автор «Двойника» способен испытать острое сексуальное чувство. Только наличие тайно желаемого третьего может поддерживать робкое счастье двоих.

Надо думать, те муки ревности, которые претерпевал Достоевский, прибыв в Париж «слишком поздно», – это не более чем вид сексуальной мимикрии. Конечно, он тайно вожделел к ни разу не виданному им студенту-испанцу, увлекшему Аполлинарию Суслову в пучину порока. Его признание в том, что он испытал «гадкое чувство» (облегчение!), когда понял, что его соперник «не Лермонтов», только подкрепляет гипотезу. Разумеется, брошенный русский писатель прежде всего жаждет духовного противоборства. Но выясняется, что на **этом** поприще Сальвадор ему не соперник. Остается лишь пожалеть, что кабальеро так быстро **слинял** и не сопроводил бывших любовников в их странном (и вполне целомудренном) итальянском вояже: это сообщило бы путешествию еще большую пикантность и остроту.

Попытку Достоевского вытащить из нищеты своего соперника, учителя Вергунова, несчастного возлюбленного его будущей (первой) жены, Б.Парамонов также относит к области эротических игр. И впрямь: какие еще мотивы (кроме, разумеется, «мотива Кандавла») могут двигать недавним каторжником, выразившим опрометчивое желание остаться не с истиной, а со Христом?

В связи с этим хотелось бы сделать Б.Парамонову один презент.

СОВРАЩЕНИЕ МИКОЛОК

Существует персонаж, к которому автор относится с видимой теплотой. Это – Миколка из «Преступления и наказания». Если не ошибаемся, он никогда не рассматривался в затронутом здесь контексте. Между тем **повествовательные намеки**, имеющиеся в романе, позволяют сделать некоторые предположения на этот счет.

Миколка — такой же полуребенок, как и Сироткин, с которым «дружат» обитатели Мертвого дома («дитя несовершеннолетнее»; «невинен и ко всему восприимчив» и т.д.). Он – из раскольников, «да и <...> просто сектант». В деревне, из которой Миколка совсем недавно явился в Петербург, он «у некоего старца под духовным началом был». То есть, как можно понять, воспитывался в строгой духовной аскезе. «Петербург на него сильно подействовал, особенно женский пол, ну и вино. Восприимчив-с, и старца, и все забыл», – такими словами следователь Порфирий Петрович изъясняет Раскольникову поведение Миколки. Далее следует довольно туманная фраза:

«Известно мне (говорит Порфирий Петрович. – **И.В.**), его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал, да вот этот случай и подошел!» «Случай», о котором идет речь – убийство старухи-процентщицы Алены Ивановны и ее сестры Лизаветы. Миколка, к вящему изумлению Раскольникова, внезапно признается в этом злодействе. «Случай» напрямую (самым непосредственным образом!) сопрягается с «полюбившим» Миколку художником, с историей их отношений. А они, очевидно, таковы, что арест по подозрению в убийстве воспринимается потрясенным Миколкой как возмездие за грех. Отсюда – и неудачная попытка самоубийства, и муки пробудившейся совести. («Старец теперь опять начал действовать, особенно после петли-то припомнился».) Несложно понять, какая причина побуждает Миколку к акту морального мазохизма – самооговору, решению взвалить на себя чужую вину («страдание принять»). Неиспорченная, неразвращенная, «народная» душа соприкасается с «Европой», воплощенной в городе Петра – с «вином», «женщинами» и, наконец, художником-содомитом. Запад губит Миколку в таком же смысле, в каком он, Запад («наполеоновская идея!»), губит Родиона Раскольникова. Такова, очевидно, та идеологическая модель, которая в сознании автора соединила две эти разнородные фигуры.

Ведомо ли автору «Преступления и наказания», что некоторые его товарищи по эшафоту наблюдали «Миколок» в самой, можно сказать, натуральной жизни?

Петрашевец Н.А. Момбелли описывает в дневнике любопытный случай, приключившийся с ним зимой 1844 года.

Во втором часу ночи, возвращаясь из поздних гостей, автор дневника тихо брел по пустынному Загородному проспекту. Падал редкий снег. Элегически настроенный поручик думал «о суете мирской, о ничтожности нашего земного существования». Его высокие думы прервал одинокий извозчик, который «жалостливым тоном» стал умолять Момбелли, чтоб тот нанял его. Поручик указал назойливому вознице, что не нуждается в его услугах, ибо желает пройтись. Однако извозчик («люжий парень лет 18 или 19 <...>, ни бороды, ни усов не видно еще») не оставлял своих просьб. Он стал уверять потенциального седока, «что сделает для меня все, чего только пожелаю, что останусь им доволен, что он угодит уж мне и т.п.». Несколько удивленный Момбелли, «не поняв дела», естественно поинтересовался, что молодой извозчик имеет в виду. После долгих экивоков (собеседник не желал подъезжать ближе) следует неожиданная (во всяком случае, для Момбелли) развязка: «Извозчик тоже остановил лошадь и с своего места с середины улицы произнес вполголоса следующую гнусную фразу: «Не хотите ли в ж...?»

«Подобная пакость, – замечает Момбелли, – сначала сильно поразила и рассердила меня». Но природная любознательность берет все-таки верх. Поручик вступает в беседу с необычным простолюдином (по имени Василий) и выясняет при этом, что «мужеложству научили его офицеры еще в деревне лет 5 назад, и они же посоветовали ему отправиться в Петербург промышлять этим товаром».

Достоевский – автор романа «Бесы». Рисунок А.И. Лебедева, 1879

В отличие от юного Миколки, юный Василий был совращен до своего появления в Петербурге. Но совратители его – те же взлелеянные петровской цивилизацией господа, которые погубили Миколку. (В этом смысле «офицеры» и «художник» суть понятия одного вида.) Достоевский, несомненно, увидел бы здесь подтверждение своей художественной правоты. Разврат не может исходить оттуда, где пребывает в своей нравственной целокупности «мужик Марей». Объектом противоестественных покушений (как социального, так и физиологического толка) становится сам народ-богоносец. И те, кто **страшно далеки** от него, выступают в роли растлителей и убийц. (Недаром ставрогинский грех квалифицируется как Богоубийство.)

Русский XIX век застанет содомию преимущественно в господской среде. (Хотя ранее, в допетровские времена, иноземцы наблюдали ее и в недрах трудового крестьянства.) Пушкин, как уже говорилось, склонен отнестись к ситуации иронически:

Содом, ты знаешь, был отмечен
Не только вежливым грехом...

Стихи эти посылаются Ф.Вигелю, эротические предпочтения которого не являлись для Пушкина секретом. Сам поэт готов извинить «вежливый грех» – при условии соблюдения приятелем в их дружественных сношениях строгого сексуального нейтралитета:

Тебе служить я буду рад –
Стихами, прозой, всей душою,
Но, Вигель – пощади мой зад!

Достоевскому в отличие от Пушкина не до шуток. Он, как всегда, **глобализирует** проблему, рассматривая ее в контексте взаимоотношений интеллигенции и народа. Гомоэротическое насилие (в особенности если оно носит межсословный характер) способно, по его мнению, сыграть роль социального бумеранга.

Существует малоизвестное свидетельство, принадлежащее возглавителю Русской Зарубежной Церкви митрополиту Антонию (Храповицкому): в первоначальной рукописи «Братьев Карамазовых» наличествовал один исключенный позже по настоянию Победоносцева и Каткова мотив. Это – глубинная причина убийства, совершенного Смердяковым. Согласно указанной версии (А.Храповицкий ссылается на не вполне ясный источник), «Смердяков был подвергнут Содомскому осквернению своим отцом Федором Павловичем». Возможно, это очередная легенда, хотя надо признать, что подобный поступок не противоречил бы моральному облику Карамазова-старшего. Брат Иван Федорович растлевает Смердякова духовно; Федор Павлович (допустим) – физически: обе вины возвращаются к растлителям – в виде безумия и смерти.

Достоевский – не Михаил Кузмин, не Андре Жид, не Жан Жене и даже не Евгений Харитонов. Для него гомоэротические мотивы не являются ни преобладающими, ни даже существенными. Как и у Пушкина, они звучат у него эпически ровно и отстраненно. В них нет надрыва, выдающего интерес. (Его рулеточные страсти куда неистовее тех, которые направлены якобы на «одоление демонов».) Его не интересует внутренний мир «половых неформалов» – в той мере, в какой тот станет литературным клондайком для писателей XX века. Здесь Достоевский безнадежно отстал. Человек у него не суть производное от своей сексуальной ориентации. Газин – злодей не потому, что он гомосексуал, равно как и не потому, что – татарин. «Уклонисты» Достоевского несводимы к своим «уклонениям»: они не менее социальны, чем и его «натуралы». Их аномалии не есть проекция его подавленных грез. Автор отнюдь не благоговеет перед своими романными красавцами (как, впрочем, и перед их прототипами), а твердой рукой указывает им место в творимом его писательской волей художественном пространстве. Достоевский **владеет** своим художественным миром, и зло здесь названо злом – даже если оно пытается сохранить «осанку благородства».

Но вернемся к нашим Кандавлам.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

(К вопросам методологии)

Один из героев «Бесов», бескорыстно укокошив другого, в отчаянии восклицает: «Не то, не то!» Тихон в том же романе на удивленный вопрос Ставрогина, какие еще изменения надобно сделать в его претендующем на абсолютную искренность документе, смиренно ответствует: «Немного бы в слоге».

Так вот. Допускаем, что в собственные намерения автора «Одоления демонов» входило «не совсем то». Ее могли даже несколько покоробить чересчур откровенные парамоновские радиопохвалы. Но так ли уж виноват Б.Парамонов, не пренебрегший возможностью перевести кокетливые авторские иносказания на свой терминологически внятный язык? Один проницательный интерпретатор в «Братьях Карамазовых» тоже по-своему «расшифровал» тонкие философемы брата Ивана. (Излишне объяснять, что пример носит чисто функциональный характер.) Вопрос, кто есть «главный убивец», имеет в настоящем случае сугубо академический интерес.

Так страшные «демоны» обращаются на наших глазах в золотушных бесенков «с насморком» – что, впрочем, и было предречено.

Нынешнее отечественное сознание жадно приемлет подобные мифы. И вот уже современная («МК», 28.02.98) московская газета спешит обрадовать читателей: «Руководители и активисты революционного кружка петрашевцев во главе с шефом баловались педофилией, некоторые из них по утрам получали заряд бодрости, созерцая тазики с кровью в ближайшей цирюльне». Так в духе последних новаций пишется «история русской революции»: в ней будет что почитать на ночь.

В одной из последних своих работ Б.Парамонов с приличествующей грустью объявил, что Достоевский «кончился вместе с коммунизмом» и что темы «Достоевского-мыслителя ныне, думается, утратили актуальность» («Звезда», 1997, № 12, с. 235). Еще недавно нас пытались уверить в том, что Достоевский как мыслитель «кончился» с падением самодержавия и крушения капитализма, а некоторый общественный интерес представляют лишь его «непревзойденные художественные картины». Тут Б.Парамонов полностью сходится с автором статьи «Партийная организация и партийная литература»: недаром выше было замечено, что он (разумеется, Б.Парамонов) – настоящий марксист.

Поучительно, однако, взглянуть на историческую действительность по-парамоновски.

В начале 1860-х годов, трудясь над переработкой «Двойника», автор сделал следующий черновой набросок:

«Мечты старшего (Голядкина. – **И.В.**): мы бы жили, близнецы, в дружбе, общество бы умилительно смотрело на нас, и мы бы умерли, могилы рядом.

– Можно даже в одном гробе, – замечает **небрежно** младший.

– Зачем ты заметил это **небрежно**? – придирается старший».

Нельзя ли усмотреть здесь мотив **гомосексуальной некрофилии**? (Дарим термин всем желающим вполне бескорыстно.)

«Робби, – говорил «божественный Оскар» одному из самых верных своих «мальчишек», – мне бы надо иметь большую гробницу из порфира, чтобы и ты там когда-нибудь почил. А как зазвучит труба Страшного суда, я перевернусь и шепну тебе на ухо: притворимся, Робби, будто мы не слышим».

Да, к автору «Двойника» следует приглядеться попристальнее. И, между прочим, задуматься о том, какими истинными причинами вызвано его сожительство под одним кровом с красавцем Григоровичем – во время написания «Бедных людей». А участие в сугубо мужской бекетовской «ассоциации» (совместное проживание плюс ведение общего хозяйства)? Все это, видимо, неспроста. Да и вообще: задуманный им в юности роман из венецианской жизни – не носил ли он по случаю имя известной новеллы Томаса Манна?

Демоны, однако, преследуют не только того, кто так и не порадовал нас еще одной «Смертью в Венеции». Распространим наш мысленный эксперимент на то злонамеренное сообщество, к которому имел неосторожность принадлежать автор «Двойника».

Антонелли доносит: «Известное лицо (т.е. Петрашевский. – **И.В.**) заметило, что оно было любимо многими женщинами, но что оно само никогда не позволяло себе увлекаться...» Если «известное лицо» и заводило интригу, «то чисто с политическою целью, чтобы увлечь ту женщину своими идеями» (прямо будущий нечаевский «Катехизис»!), – и эта затея почти всегда удавалась, ибо оно (то есть известное лицо) «встретило более 20 человек мужчин, которые вышли из школы увлеченных им женщин с совершенно человечными идеями». Полагаем, наш знакомец Кандавл был бы совершенно доволен.

«Особенно замечательна привязанность Петрашевского к Толлю, – продолжает доносить Антонелли, – когда он, будучи чрезвычайно воздержан, согласился один выпить целую бутылку шампанского, для того чтобы Толль после ужина оставался дома, а не ехал куда-нибудь кутить». В доме у Петрашевского проживают несколько тихих и безответных существ мужеского, разумеется, пола. (Они будут привлечены к делу, но по слабости вины, как-то: разливание чая во время ночных собраний – вскоре выпущены на свободу.) С другой стороны, попытку Петрашевского явиться во храм облеченным в женское платье (о чем уже говорилось выше) тоже можно трактовать в специфическом смысле.

Впрочем, подозрительны и другие. На вечере, устроенном Антонелли, они забываются до того, что не только поют и хохочут, но, как сообщает бдящий агент, даже танцуют друг с другом. Зачем на следствии Львов пытается выгородить Момбелли? (Неравнодушие Достоевского к Спешневу было усмотрено в попытках аналогичного рода.) Не тот ли это заговор, который тоже **пропал**?